



Натаалья
Громова

Насквозь

На Два
ГОЛОСА

Сторителз

Борис
Безквин

В книгу «На два голоса» вошли два произведения.

Роман известной писательницы и литературоведа Натальи Громовой «Насквозь», о котором сама автор написала: «Писание автобиографических романов в XIX и в начале XX века было вполне привычным занятием для литераторов. Полагалось, что биография, рисунок собственной судьбы - это только основа, а остальное дописывается и достраивается по свободной воле автора».

И роман «Сюрприз», автор которого писатель и педагог Борис Белкин. Они с Натальей Громовой супруги, уехали из Москвы после 24 февраля 2022 года, живут и работают сейчас в Израиле.

Этот маленький роман написан в соответствии с тем же принципом, что и «Насквозь» Натальи Громовой - реальные события в нем достраиваются авторским воображением. И сами эти события отчасти повторяют те, которые происходили в ее жизни, что естественно. Однако Борис Белкин видит их взглядом гораздо более резким, лишенным даже тени иллюзий.

НАТАЛЬЯ ГРОМОВА

Жила в Москве. Работала в редакциях, библиотеках и музеях. Куратор литературных экспозиций и выставок, автор сценариев документальных фильмов. Книги Натальи Громовой выходили в лучших издательствах России.

БОРИС БЕЛКИН

Жил в Москве, работал преподавателем физики и математики, переводчиком фильмов с французского, копирайтером в рекламном агентстве, зимовал на полярной станции о. Хейса. Рассказы Бориса Белкина печатались в журналах.



После 24 февраля 2022 года супруги
Наталья Громова и Борис Белкин
покинули Россию



*“Дома нет места свободной русской речи,
она может раздаваться инде,
если только ее время пришло.*

*Открытая, вольная речь — великое дело;
без вольной речи — нет вольного человека.*

*Недаром за нее люди дают жизнь,
оставляют отечество, бросают достояние.*

*Открытое слово — торжественное признание,
переход в действие.*

*Время печатать по-русски вне России, кажется
нам, пришло”.*

Искандер (Александр Герцен)

Лондон, 21 февраля 1853.

Наталья Громова

Борис Белкин

НА ДВА ГОЛОСА

Наталья Громова, Борис Белкин
На два голоса
Проект “Вольное книгопечатание”

Издательство “Книга Сефер”, Израиль, 2022
<https://www.facebook.com/KnigaSefer>
(972)502423452
<https://www.knigasefer.com/>

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко
Верстка Елены Илюшиной

ISBN 978965 7288201

© Наталья Громова, 2022 © Борис Белкин, 2022
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет
© “Книга Сефер”, издание, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Особенный воздух Предисловие	8
Наталья Громова Насквозь	17
Часть 1.....	18
Часть 2.....	118
Часть 3.....	205
Часть 4.....	315
Часть 5.....	371
Часть 6.....	382
Борис Белкин Сюрприз.....	407
Борис Белкин Послесловие 2022.....	603
Наталья Громова Постскриптум	608

Особенный воздух

Предисловие

Громова пишет замечательно.

Я физически, всем своим телом ощущаю боль, ужас и сострадание к человеческим существам, из которых сотканы её тексты.

Первая прочитанная мной книга Громовой, произвела на меня впечатление, сравнимое разве что с “Архипелагом ГУЛАГ”. В Архипелаге рассказывалось о том, что одни люди делали с другими. А в книге Громовой “Узел” говорилось о том, что люди делали с собой. И говорилось с такой болью, с таким состраданием к этим несчастным, калечащим самих себя людям, что это действовало на читателя не меньше, чем сам рассказ о судьбах героев книги. Другие книги отличались от первой и, пожалуй, ещё от превосходной книги “Скатерть Лидии Лебединской” тем, что по большей части речь в них шла не о персо-

нажах известных — кому же не захочется приобрести к жизни знаменитостей — а о людях мне, по крайней мере, неизвестных, так сказать о людях из толпы. О людях, проживших жизнь исполненной такого благородства, достоинства, наполненности и осмысленности, которую не часто удается прожить людям известным. В каждой из книг порой на фоне, порой за кулисами, реже на сцене, присутствовал и сам автор (ничего, что я не пользуюсь словом авторка?)

Петр Вайль написал, как по мне лучшую книгу о поэзии “Стихи про меня” Так вот, книги Громовой, это книги про меня, потому что предательство подлость, страх в той или иной мере существует во мне. “И с отвращением читая жизнь мою...” А ведь заставить читателя увидеть в тексте не только и столько персонажей, а себя самого, это дар, которым обладают немногие.

А теперь, поговорим о книге, которую вы держите в руках. Прежде всего, это не одна, а две книги двух разных авторов под одной обложкой.

И если с книгами Натальи Громовой я был знаком давно, то с творчеством Бориса Белкина я повстречался впервые и с первых строк был очарован суховатой иронической интонацией автора. А разве не именно что интонация в первую очередь притягивает к незнакомому автору? Не в ней ли таится секрет обаяния текста? В конечном итоге по справедливому замечанию Сьюзен Зонтаг: “Время новых коллективных озарений благополучно осталось в прошлом: на нынешний день все великие умы и конченные тупицы, глупейшие и мудрейшие, так или иначе, высказались” Да, всё уже сказано, исчислены сюжеты, положения, ситуации, мысли, ничего нового под солнцем не наблюдается, и только неповторимая личная интонация заставляет по-новому услышать и воспринять хорошо известные вещи.

Книги Громовой и Белкина вполне могут жить по-отдельности, но волею судеб (Провидения, Создателя — выбирайте сами), которая играет если не решающую, то существенную роль в

текстах обоих авторов, решили жить вместе. Как и сами авторы, между прочим. Собственно, буде книги эти были бы изданы по-отдельности, матримониальный статус Громовой и Белкина вряд ли заслуживал бы упоминания, а если бы и представлял собою какой-либо интерес, то исключительно для читателей, охочих до информации о личной жизни автора. Но, как справедливо отметил один умный человек, желание познакомиться с автором произведшего на вас впечатление романа, сродни желанию познакомиться с гусем, фуа гра из печени которого пришлось вам по вкусу. В данном случае, однако, этот факт существенен, ибо в результате соседства под одной обложкой, хотят того авторы или нет, две эти книги воспринимаются даже не как дуэт, а как голоса двухголосной фуги. (В связи с этим замечу, что мне не очень понятно, зачем в своем тексте Громовой понадобилось камуфлировать Бориса Белкина под вымышленным именем. Конечно,

всегда можно сослаться на то, что лирический герой не тождественен прототипу, но в данном случае всё так понятно, что употребление псевдонима смело можно уподобить желанию натянуть на появившегося на ортодоксальном пляже героя абсолютно прозрачные плавки). Впрочем, это мелочь, важно то, что два этих самостоятельных и самостоятельных голоса вместе создают новое качество. У них есть достаточно много общего, в первую очередь вера в существование некой трансцендентальной силы, руки направляющей, выстраивающей цепь жизненных событий. Словно, условно говоря, существует этаким ангел хранитель, который хитроумно проводит человека по жизненному лабиринту, воздвигая на его пути препятствия, смысл и значение которых разъяснится в последний момент.

Человек склонен решительно во всём искать смысл. Эта, в сущности, совершенно элементарная (настолько, что только диву даешься,

где она гуляла 3000 лет) мысль, была сформулирована в середине XX века Виктором Франклом. Однако, в той или иной форме, она сопровождала человечество на протяжении тысяч лет. Человек ищет смысл, и, позволю себе заметить, всегда находит, даже там, где его нет. Горьким отчаянием пронизаны слова Йешаяху Лейбовича “Весь ужас Катастрофы заключается в том, что в ней нет никакого смысла”. Может самая мысль о том, что смысла может и не быть, настолько обесценивает жизнь, что хочется вслед за авторами верить в его существование. Но на этом, пожалуй, сходство между авторами заканчивается, и начинаются различия. И здесь мы вступаем на почву зыбкую, ибо различия эти на наш взгляд обусловлены не только и не столько различными темпераментами, складом ума и т.д., сколько национальной принадлежностью каждого из авторов. А говорить о национальном характере дело неполиткорректное и даже опасное. Ну и хрен с ним...

Голос Громовой, голос страстный, не терпящий компромиссов, голос даже пугающий, своей предельной откровенностью, тем паче, что в этой книге автор становится главным героем повествования. (Ничего общего с эксгибиционизмом и самовлюбленностью, так часто маскирующимися под откровенность). Голос человека, исполненный даже не эмпатии, но глубинного, чуть ли не физиологического сострадания к человеческой твари, голос максималиста, жаждущего справедливости, человека за свои убеждения готового идти до конца, до костра. Русский характер в лучшем своем проявлении (ну, а тот факт, что у русского, как и любого другого, характера есть проявления малосимпатичные, к нашей нынешней задаче никак не относятся) Второй голос — голос сдержанный, голос реалиста, голос человек собой владеющего. Голос интеллектуала, не подающегося на уловки темперамента, спокойно препарирующего действительность. Голос трезвый, ироничный, голос человека умудрённого не

только своим жизненным опытом, но опытом многих поколений. В данном контексте значительная часть текста Белкина, хочет он того, или нет, воспринимается, как комментарий к книге Громовой. (Кстати, в рамках постмодернистского дискурса, текстом является и сама Громова.) Но комментарий, как не крути, это основная форма еврейского мышления. Талмуд — главная книга еврейства, есть не что иное, как развернутый комментарий к Библии. А еще есть комментарии РАШИ и комментарии к комментариям и так без конца.

В этой книге сталкиваются две стихии, крайне непохожие друг на друга и вместе с тем имеющие много общего. Слова Тургенева “Русский народ есть в высшей степени поляризованный народ, т.е. совмещение противоположностей... он в высшей степени способен внушить к себе сильную любовь и сильную ненависть” вполне могут быть адресованы евреям. Я, уж про-

стите, не буду говорить о претензиях обоих народов на богоизбранность, не в них и не в ней дело. Я хочу сказать, что столкновение этих двух стихий породили уникальный в истории как русского, так и еврейского народов феномен, суть которого лучше всех сформулировал еврейский поэт Довид Кнут, кстати муж Ариадны Скрябиной.

Особенный, еврейско-русский воздух... Блажен, кто им когда-либо дышал.

Этим особенным воздухом наполнены страницы книги, которую Вы держите в руках. Этот воздух исчезает в России. Исчезнет он и в Израиле. Нам, израильтянам русского разлива, благодаря этой книге, благодаря двум этим книгам, дарована уникальная возможность снова наполнить легкие этим неповторимым воздухом, которым дышит каждая строка прекрасных текстов Н. Громовой и Б. Белкина.

Саша Окунь Иерусалим, 2022

Наталья Громова Насквозь

Писание автобиографических романов в XIX и в начале XX века было вполне привычным занятием для литераторов. Полагалось, что биография, рисунок собственной судьбы – это только основа, а остальное дописывается и достраивается по свободной воле автора. Так писалась «Жизнь Арсеньева» Бунина, «Дневные звезды» Берггольц, «Сентиментальное путешествие» Шкловского и многое другое.

В этом романе я попыталась воссоздать почти ушедший жанр, пытаюсь разобраться с собственным прошлым и настоящим. Как и у классиков, правда и вымысел оказались здесь смешаны, как и имена – подлинные и мнимые.

Часть 1

1.

В мае 1981 года – у меня как раз должен был родиться сын – отец сообщил мне, что в связи с последними событиями в Польше туда могут выдвинуться наши войска, и уж точно – с другой стороны войдет НАТО. И привет – ядерной войны не избежать. Увидев ужас на моем лице, он стал уговаривать не переживать, может ещё обойдется. Хорошенькое дело! Он ведь был полковник Генштаба.

О войне – вместе и по отдельности – мы думали постоянно. Напарница из книжной реставрации, очищая кистью с нашатырем старую газету, распекала меня:

– Ну какие идиотки в наше время могут рожать? Ведь эти старые хрычи напоследок обязательно бомбу кинут! И как можно детей в такой мир выпускать?

Но ведь и конца света ждали, а люди как-то на земле появлялись, – раздумывала я, держась за свой огромный живот. С другой стороны, отец любит производить впечатление. Человек он талантливый, артистичный. В юности выступал в театре Советской армии, который шефствовал над их школой в Марьиной роще, любил произносить монолог Ноздрева: «И все тут – мое! И все – тут мне!» Лучше всего у него получалось говорить манерным и глупым голосом Присыпкина из «Клопа». Актерская карьера у него не случилась, и он стал просвещать и зажигать слушателей иначе.

Как-то позвал в гости своих товарищей военпредов – отец курировал приемки на военных заводах. Люди они были неплохие, но по большей части недалекие. Звали они его ласково: «Гаврилыч». «Откуда ты, Гаврилыч, столько всего знаешь?», «Какой же, Гаврилыч, у тебя обширный ум!».

И вот мой отец, который только что прочел книгу Солоухина об иконах и был под огромным впечатлением, – эту и еще книгу о грибах того же автора читали тогда во всех институтах и почтовых ящиках, передавая друг другу – стал рассказывать военпредам, кто такой Иисус Христос и что с ним произошло две тысячи лет назад. Правда, подробности он и сам узнал совсем недавно из описаний сюжетов икон. Тем не менее, почувствовав себя Колумбом, стал открывать гостям тайну знаменитого полотна Александра Иванова «Явление Христа народу».

– Что говорит художник этой картиной? – провозгласил он как заправский экскурсовод. И слушатели – кто с вилкой в руке, кто с рюмкой, кто с куском хлеба, не донесенным до рта – замерли как по команде. Военпреды знали, что вкушают сейчас пищу не только насущную, но и духовную. Так всегда происходило во время застолий в нашем доме.

– Художник говорит, что Иисус Христос появляется откуда-то из-за горы, – мы-то на картине его видим, а евреи, что на полотне – еще нет. Но все ощущают давно желаемое и чаемое. Все напряжены, всматриваются в даль и, не видя Его, уже предчувствуют чудо! Посмотрите, как иудейский народ выходит из реки, предвкушая своего Спасителя! Пойдите в Третьяковку.

Я догадывалась, что отец повторяет чьи-то слова, и делает это мастерски. Он рассказывал о том, что было после Явления Христа народу; и про Чудо в Кане Галилейской, и про Преображение на горе Фавор, и Тайную вечерю, и вот когда он дошел до сцены Распятия, произошло то, что всегда бывало на этих застольях – кто-то из слушателей, не выдержав, потрясенно выдохнул: «Ну, откуда, откуда, Гаврилыч, ты все это знаешь?!».

Тот еле сдерживаемый восторг, который читался на лицах преданных сподвижников отца

странным образом делал все это действие и самих военпредов похожими на тех самых евреев у реки Иордан, которые внимали проповеди Крестителя. Отец же, будучи под воздействием картины Иванова, вскакивал с места и возносил руки вверх, как тот великий Пророк.

Это вовсе не означало, что отец стал религиозным: так же увлеченно он рассказывал мне про превращение обезьяны в человека, про то, как та взяла палку, чтобы сбить плод с дерева. Про землетрясения, космос, квантовую физику, Маркса, Фейербаха, очень смешного Дюринга, про которого Энгельс написал «Анти-Дюринг», про Маяковского, который застрелился, потому что его одолело мещанство, про социализм, который не дают построить присосавшиеся бюрократы, про Победоносикова, про переход количества в качество и про отрицание отрицания. Но где-то лет с тридцати трех он вдруг стал рассматривать картины с христианскими сюжетами и с удивлением обнаружил, что никогда не читал

Евангелия. Это было знание, которое от него скрыли. Может быть, и отец, и его слушатели догадывались, что живут в каком-то урезанном мире, выходить за пределы которого позволялось не всем. Отец дерзко проделывал дыру в нарисованном очаге, где за таинственной дверью открывалось нечто удивительное. Военпреды, зная необычные способности моего отца, почитали его неким медиумом, соединяющим тот мир и этот. Он же приносил им самоцветные истории из области культуры, науки и очень гордился этой ролью.

2.

В тот же день, когда отец поразил меня своим прогнозом относительно Польши и будущей войны, мой юный муж Петр под развешенными в кухне проволочными антеннами для усиления сигнала радио «Голоса Америки» и «Свободы», настойчиво убеждал меня в том, что никто

никуда не войдет, потому что у наших кишка тонка, а Брежнев давно выжил из ума и его окружение об этом прекрасно знает.

– И вообще они в Афганистане увязли! – отрубил он. И еще он сказал, что мой отец, хотя и большой оригинал, но как всякий советский военный не вполне адекватный. Разве нормальный человек будет говорить такое беременной дочери?

Мне стало обидно, и мы стали спорить. Я говорила, что у меня хоть такой отец, а у него вообще никакого нет. И что мой научил меня познаниям в разных областях. На что Петр сказал, что доволен тем, что его воспитывали бабушки, потому что отцы ничему хорошему не научат. Его отец-художник вообще исчез, а отчим – полное недоразумение. Потом он напомнил мне про обезьяну с палкой и стал требовать, чтобы я объяснила, почему теперь ни одна обезьяна не превращается в человека. Что ей мешает? Я не стала

ему отвечать и ушла под свист и бульканье приемника в комнату.

Спрятавшись под пледом, я вспомнила, как всего пару лет назад Петр вбежал на черную лестницу Исторической библиотеки, где была курилка, в которой собирались все юные библиотекари, не прошедшие конкурс в институты: моя подруга Ленка, фарцовщик Кубакин, хиппующая Тамара и я – и радостно провозгласил, что его отчим, наконец, отвалил из дома, и что это самый лучший день в его жизни. Отчим был директором студии «Диафильм», которая находилась рядом с библиотекой, где мы работали и Петр, проходя мимо его большой серой «Победы», демонстративно лупил ее по колесам. Он был по-своему прав, отцы не вносили в жизнь ничего кроме неприятностей и проблем. Они жестко воспитывали, много пили и при этом то появлялись, то исчезали.

Я же, слыша ликование Петра, терзалась от тоски; только что мне стало известно, что отец

уходит из дома. И с этого дня мама стала называть его – «ничтожный тип».

Буквально за день до объявления о своем уходе он позвал меня прогуляться, решив, что со мной уже можно говорить, как со взрослой. Неловко заглядывая мне в лицо, явно не зная, как начать, он, сказал, что встретил прекрасную женщину, с которой они читают у друг друга в душах и вместе ходят в галереи. Она его слушает как никто на свете, и он не может без нее жить. С моей матерью ему тяжело, они разные люди, и вообще, так получилось, что он был вынужден на ней жениться, потому что... потому что она оказалась от него беременной. Я должна была родиться на свет.

Лучше бы он этого не говорил.

Мне стало по-настоящему страшно, словно ты видишь себя на все годы назад.

Как над твоей еще не возникшей жизнью кто-то занес огромные ножницы и пытается перерезать нить, на которой ты подвешен. Вроде

бы ты и есть, но этими словами тебя словно вычитают из жизни. А если бы он уговорил маму от меня избавиться, то с кем бы он сейчас шел по бульвару? Кому бы он рассказывал все, что знал.

Никогда в жизни с отцом у нас не было подобных разговоров. Никогда. И не было языка для того, чтобы говорить на подобные темы. Он всегда уклонялся от любых тем, которые касались его личного опыта или отношений с близкими. Про книги, историю, картины, про что угодно он мог говорить бесконечно, но только не о своей жизни. Поэтому я закрылась, замолчала и думала, как бы скорее сбежать от него. Было видно, как мучительно он ищет слова, путается, пытается говорить строчками каких-то евтушенковских стихов. Но я ему не помогала, я мрачно ждала, когда он закончит свой монолог.

И вот он ушел из дома... У женщины, с которой у него был роман – она работала в их военном отделе – был муж и сын. Маме звонили и говорили, что до отца у нее, кого только не было.

Я увидела ее через несколько лет на дне рождения у отца и ужасно удивилась тому, какой оказалась его «культурная» жена. Кругленькая, с плотными щеками, небольшими глазками, которые все время двигались, сверлили каждого, с пухлыми пальцами; она все время ерзала на стуле, трогала себя, поглаживая свои руки и локти. Обращаясь к кому-то, не дослушивала ответа и тут же кидалась к другому. Громко и неестественно похохатывала. Оправляла блузку, волосы, крутила кольцо на руке. Мне показалось, что она не может усидеть на месте, постоянно суетится, пристраивается, прилаживается.

Мама долго металась. Как-то она пошла на кладбище с самыми нехорошими мыслями, и там застыла перед ямой, которую рыли два могильщика. Один из них оказался шекспировским типом и крикнул ей, чтобы она шла отсюда подобру-поздорову, потому что ее время еще не пришло. И когда она побрела прочь, он еще раз гаркнул ей

вслед, чтобы она выкинула эти «штуки» из головы. Она запомнила, что он назвал это «штуками».

Из-за ухода отца, постоянных слез мамы, ее надежд на его возвращение я малодушно сбежала из дома замуж за своего доброго друга. А теперь у меня будет ребенок. И в мире неспокойно. Как же мне быть?

Когда отец узнал, что я выхожу замуж, он очень взволновался. Приехал домой, где мы когда-то жили все вместе, посадил нас с Петром на диван и сказал:

– Я понимаю, что вы хотите пожениться, я все понимаю. Но вот скажи мне, – обратился он к Петру, – ты табуретку-то можешь сделать? Вот этими руками, можешь? – и показал ему свои руки.

Это было странно, потому что на моей памяти отец никогда ни одной табуретки не сделал. Да и вообще ни молотка, ни гвоздей в руках не держал.

– Нет, – честно ответил Петр. – Не могу.

– А как же ты собираешься создавать семью? Как? Если ты даже табуретки не можешь сделать.

3.

Для моего отца родиться в 1937 году было редкой удачей. Моя бабушка избавлялась от опасной беременности в горячей ванне. Кто же, будучи в ясном уме, решится рожать ребенка под аккомпанемент судебных процессов и расстрелов. Мало остаться матерью-одиночкой, но ведь детей могли забрать в детский дом. Но дед спас будущего сына; почувствовав неладное, он стал ломиться в дверь ванной и требовать сейчас же остановить возможный выкидыш.

Меня всегда занимал тот невидимый станок, который прядет полотно жизни. Ну опоздай дед на полчаса, и никого бы из нас не было. Только

кровавый ком, который женщины постоянно исторгали из себя. Аборты были запрещены.

Но спасение моего отца никак не повлияло на их будущие отношения – никакого согласия между дедом и отцом никогда не было. Мой отец был послушный и покладистый мальчик, который хорошо учился, был секретарем комсомола школы. Но в доме он жил в постоянном, неистребимом страхе. Он боялся своего отца – моего деда. Звали его Гавриил Петрович. Главное было не попадаться ему на глаза, когда тот приходил с работы. Для себя и своей младшей сестры отец придумал специальную игру; вдвоем под столом, прикрытые скатертью с бахромой, они часто представляли, что плывут по дальним морям. Он тихо перечислял ей названия стран, рассказывая фантастические истории про обитателей. Читал ей стихи, пел гимны, рисовал карты. И если Гавриил Петрович вдруг вспоминал, что до сих пор не видал детей, он резко вызывал их из укрытия

и требовал, чтобы они пришли к нему с дневниками. Чаще всего он был мрачен и напряжен. Его все раздражало, казалось, он только искал повод, чтобы сорваться.

Мне же этот страх не передался, хотя я видела его отраженным в глазах своего отца. Я помню его особое восхищение, когда шестилетней пошла с дедом покупать себе на день рождения платье. Дед сказал, что я могу выбрать любое, какое мне понравится, и я показала – как выяснилось – на самое дорогое за десять рублей. Оно было снизу – синей юбкой в складку, а сверху – желтым с синим воротником в горошек и галстуком. Мне оно показалось прекрасным. Дед даже крикнул, когда я, стащив его с вешалки, протянула ему. Но деньги вынул и платье купил.

– Ты ему сама показала на это платье? – переспрашивал мой отец недоверчиво.

– Да, но ведь он сказал – бери любое!

– Он просто так сказал, чтобы тебе приятное сделать, – не успокаивался отец.

– Как это приятное? – недоумевала я.

– И он не ругался? – как-то неестественно снова спросил он.

– Нет, просто всю дорогу молчал.

В юности отец бредил театром, написал пьесу про похождения Анода и Катода, сочинял стихи, но говорить об этом дома боялся. Когда в школе случился скандал с учительницей – она дала пощечину ученику, то весь класс бойкотировал занятия. Вызвали родителей. После собрания дед устроил отцу допрос с пристрастием. Как он мог – секретарь комсомола – присоединиться к бунтовщикам? Он обязан был пойти в дирекцию и сообщить о подстрекателях. В ответ отец сказал, что это он сам все и организовал. После чего дед его жестоко избил.

С того момента отец уже не мог жить с Гавриилом Петровичем под одной крышей. Несмотря на то, что кончил школу с золотой медалью, как только выпала возможность, он поступил в первое попавшееся военное училище.

Оттуда его послали в ракетную часть военного городка Манзовка на самый конец земли под Уссурийск. Там он встретил мою маму. До войны в закрытом военном городке стояли танковые части, где служил ее отец-танкист, который ушел на фронт и погиб. Мама провела все детство среди дикой таежной природы, сопок и тяжкого, почти деревенского быта. Здесь, в Приморском крае, после войны было так голодно, что дети в поисках еды босиком уходили через сопки в тайгу. Огромные змеи, которых они встречали – а они были там в избытке – никогда не трогали детей. Однажды дети заблудились. Они двигались с одной сопки на другую и сбились с пути. Несколько дней их искали солдаты, прочесывая тайгу. К счастью, детей нашли. Когда мама подросла – отдушиной для нее стал Дом офицеров с библиотекой, танцами и кино. Там отец вместе с московским другом изображали белых офицеров, красиво читали стихи и пели под гитару. Друг соблазнял красивых девиц.

Одна из девушек утопилась в местном пруду от безответной любви к отцовскому товарищу. Мой отец шел приблизительно тем же путем, ухаживая за мамой, и не собираясь на ней жениться. В Москве его ждали красивые подруги, друзья, а тут случайная, пусть и влюбленная девушка. Но мама забеременела, у нее реально возникла угроза остаться матерью-одиночкой. Тогда в дело вмешалась бабушка Таисия, которая вообще-то редко во что-либо вмешивалась. Ей самой тогда было всего 37 лет, ее вдовья жизнь сменялась постоянными поклонниками, романами, возникали свои трагедии с криминальными абортами. Мама росла с ужасом возможного сиротства, кроме того, ее время от времени донимали ухажеры ее матери- Таисии, и вдруг - любовь, но какая-то неверная, не до конца ясная. Видимо, отца «уговорили» не бросать несчастную девушку, и он женился на маме. В это время он поступил в Академию Дзержинского (тогда были выездные экзамены, прямо в части), и теперь,

уже слушателем московской Академии, поехал домой в Москву с женой и дочкой. Мне было около девяти месяцев, когда в поезде «Владивосток-Москва», который шел семь дней, я научилась ходить.

Всю дорогу отец рассказывал маме про свой прекрасный дом, семью, про то, как там все добры, как все их радостно встретят. Юную жену он решил воспитывать, поднимать ее культурный уровень, чтобы она соответствовала его среде. Она же грезила о Москве, как о настоящем чудесном мире, о котором она даже не смела мечтать. Непонятно, как отцу удалось на расстоянии забыть все унижения и обиды, которые причинил ему Гавриил Петрович. Ведь семья была с тайнами и надрывом. И вот как только мама переступила порог, так мой дед тут же пустил в обращение – словечко «тайга». Так за глаза – он стал ее называть. А все радостно подхватили.

– Ну, конечно же, она из «тайги» приехала, - шептались у нее за спиной, откуда взяться воспитанию!

Мама от этих разговоров и язвительных шуток становилась неуверенной в себе. Высокомерие московской семьи к приехавшей с края света девушке, сумевшей непонятно как «отхватить» себе видного жениха, сопровождало ее с первых дней появления на пороге дома. Ее лицо с близоруким взглядом становилось все более растерянным и напряженным. Она словно ждала какой-то пощечины, толчка, удара. Радость, надежда на счастье были утрачены. Неуверенность стала оборачиваться резкостью. Она все чаще вспоминала своего погибшего отца. Представляла, как бы он приехал в этот московский дом и заступился за нее. «Я – безотцовщина», – говорила она о себе, когда слышала что-то обидное. Ее отец горел в танке, оказавшись на Курской дуге, и умер от ран осенью 1943 года недалеко от Полтавы. Сам он был детдомовский. О

его прошлом никто ничего не знал. Маму окружало чужое поле, где не было ни родных, ни друзей. Правда, у нее было одно преимущество. Она обладала независимым и свободным характером, сложившимся на просторах дикой природы. Тайга, которой она так стеснялась, о которой ей напоминали почти каждый день, давала ей то, что здесь было невозможно. У нее не было чувства страха. И Гавриил Петрович об этом знал. Она даже не подозревала, что люди могут так бояться собственного прошлого что-то умалчивать, что-то скрывать. Но в тоже время получалось так, что, будучи в постоянной оппозиции ко всем членам семьи – она все больше входила в роль страдающей и оскорбленной.

Отец же, напротив, чувствовал себя благополучным и всеми любимым.

Дети – существа неверные, они чаще льнут к победителям, так в детстве я оказалась ближе к отцу.

4.

Отец рассказывал мне все, что знал. Конечно же, это создавало некий шум в голове, но в то же время его дружеская доверительность делала меня очень счастливой. Я знала, что ни у кого нет таких отцов, которые вот так – на равных разговаривают со своими детьми. Казалось, что он захотел заново переписать свое детство, внушить мне самые идеальные представления о мире, о том, что хорошее непременно победит плохое. Абсолютно всерьез он доказывал, что цель моей жизни в том, что я должна стать лучше его, и только тогда возможен прогресс.

– Если все дети будут лучше своих родителей, представляешь, какой мир настанет! – радостно твердил он.

Я же считала его совершенным человеком. Так продолжалось лет до девяти.

Первое потрясение случилось, когда я увидела его пьяным. Я еще толком не понимала, что

это такое. Пьяные на улицах были не в счет. Однажды после какого-то застолья – мы жили тогда в коммуналке на Старом шоссе, – отец, выходя из-за стола стал клониться то на правый, то на левый бок, падать, и что самое ужасное – говорить, нечто нечленораздельное. Он как-то весело мычал и при этом неуверенно смотрел на меня. Какая-то его часть, видимо, понимала, что происходит нечто непотребное. Я застыла в столбняке, прижавшись к стене, и с ужасом смотрела на него. На следующее утро он несколько раз подходил ко мне что-то пытаюсь объяснить. Но теперь я испытывала такой стыд за него, что боялась разговаривать как прежде. Что-то изменилось в нашем общем с ним мире.

Потом, я читала про Ноя, которого сын увидел пьяным и нагим, и как известно, стал рассказывать об этом своим братьям, что привело к тому, что был прославлен в истории библейским Хамом. Я же, напротив, ни с кем этой новостью не делилась, а стала жить со своей тайной про

отца, что делало меня разъятой пополам. Казалось бы, в этом же не было ничего особенного. У кого не пили отцы? Но я-то знала, что он – другой.

Будучи нетрезвым, отец часто превращался в героя разных происшествий. Ему это даже нравилось. С ним случались приключения, которые нанизывались историями-главами в книгу его жизни, которые он тоже любил рассказывать своим друзьям-военпредам.

Однажды нас всех заперли в дачном домике, потому что дед собирал мед из ульев. Он нарядился в специальный костюм, надел шапку с сеткой и позвал моего отца, который только, что вышел в подпитии из-за воскресного стола. Было известно, что пчел нервировал запах алкоголя, но ко всему прочему отец почему-то пошел помогать деду извлекать мед из улья в одних плавках. Он должен был поднять крышку в пчелином домике и держать ее перед собой. При этом он защищался дымом-окуривателем и, видимо, ему

казалось, что он был в безопасности. Однако случилось нечто непредвиденное. Отец неловко качнулся и ...перевернул улей. Взбешенная пчелиная семья вырвалась из домика и рванулась к нему. Благо он был почти голый. И тогда он побежал. Сначала перелетел через забор дачи. Потом он с гордостью рассказывал, как с ходу взял рекорд Брумеля. Затем перепрыгнул второе препятствие – забор, отделяющий дачи от леса. Кинулся через лес к пруду. До воды был километр. Отец в подробностях вспоминал как навстречу ему с пляжа шли полуголые люди, и еще издали увидев странного типа, который истошно крича бежал им навстречу, стали гоготать, показывая на него друг другу пальцем. Когда же отец пробежал мимо, у него за спиной раздался страшный крик. Пчелы, споткнувшись об отцовских обидчиков, стали кусать их с удвоенной яростью. Так отец, преодолевая препятствия - пеньки, сваленные деревья, кусты - добежал до пруда, под завязку заполненного сотнями купающихся. День был

жаркий. Через несколько минут он вынырнул – все до единого человека исчезли. На этом месте рассказа все смеялись до слез.

Но эта история чуть не обернулась для отца настоящей трагедией. Врачи насчитали на его теле около двухсот пчелиных укусов – тяжелейшая интоксикация чуть не закончилась смертельным исходом. Сначала он ходил весь распухший, потом его забрали в больницу, где несколько недель он лежал под капельницей. Но о предсмертном состоянии отец быстро забыл и продолжал рассказывать историю бегства от взбешенного улья в самых немыслимых деталях. В процессе повествования забор все больше вырастал на лишние сантиметры, а гуляющие вредили ему, то так, то эдак. Иногда даже подставляли ножку, когда он бежал к пруду, но в итоге были наказаны за свое жестокосердие.

Я слушала очередной раз его рассказ о пчелах и чудесном спасении от них, и мне казалось,

что он не прочь был бы погибнуть в такой веселой переделке. Это придало бы его жизни какой-то пусть и дурацкий, но смысл, которого ему явно не доставало.

5.

Иногда отец брал меня на работу. Огромное желтое здание бывшего Воспитательного дома, в котором поселилась в конце 30-х годов Академия Дзержинского, возвышалось над Москвой-рекой, огороженное решетками с острыми наконечниками. До того, как я попала внутрь, мы приходили сюда с мамой. Перед входом стояли неживые солдаты с ружьем перед коричневыми будками. Издалека, завидев отца, идущего к выходу по длинной аллее, я проскакивала сквозь черные металлические прутья ограды и кидалась к нему. Солдаты смешно крутили головами,

пытаясь что-то кричать мне вслед, и даже щелкали затворами, но я не боялась. Отец махал им рукой, и они снова окаменевали.

Однажды меня не с кем было оставить, и он взял меня с собой на работу. Так мне удалось увидеть огромный желтый замок изнутри. Отец держал меня за руку, и мы шли и шли сквозь длинные круглые арки; в огромных окнах мелькала стоп-кадрами река, старые крыши закрытого двора. Мы спускались и подымались по широким крутым лестницам вверх- вниз, и наконец, оказались в его комнате. Он работал с телевизионными приборами. Первое, что показал мне отец на большом экране телевизора, стоящем у него на столе, была дрожащая картинка, на которой различалась поверхность Луны, где почему-то, переминаясь с ноги на ногу стоял настоящий космонавт. Изображение было очень мутным и оттого показалось мне абсолютно настоящим. Тогда еще на Луне никого не было, и я очень удивилась. Отец подмигнул мне, и я поняла, что это

какая-то тайна, к которой я оказалась причастна. Потом он предложил мне отправиться в соседний отсек, где на стенке была наклеена фотография Земли, а под ногами было нечто похожее на лунный пейзаж. Он надел на меня белый шлем, наставил камеру, висевшую на потолке, и быстро вышел из закутка.

– Смотри сюда! – крикнул он. Я заглянула в небольшое оконце. На большом экране его телевизора в дрожащем черно-белом изображении я узнала одинокую небольшую фигурку – это была я, из-под белого шлема торчал мой капроновый бант – перемещающуюся по Луне. Мне сделалось очень тревожно. Я, которая была здесь и я, которая дрожала на черно-белом экране телевизора существовали абсолютно отдельно. Девочка, попавшая на Луну, грустно смотрела на меня с экрана. Я закричала, и выбежала оттуда, сдирая с себя белый шлем. – Значит, это все неправда, неправда! – кричала я. – Значит, той Луны не было??

Отец, почему-то покатывался со смеху. Он ничего не отвечал мне, а когда в комнату заглянули сотрудники, хохоча говорил:

– Вот также и майор Ковшов, и Тарлыков, и Шапкин попались. Все поверили!

– А сколько лет дочке? -спросил его кто-то, сочувствуя мне больше, чем майору, который попался.

– Восемь! Но они-то точно также возмутились!

Я так и не поняла, чем отец занимался на работе. Про Луну он мне потом сказал, что это такое развлечение, а вообще, они делают тепловизоры.

– Для чего?

– Чтобы видеть врага в темноте.

С врагами все было странно. Отец приходил с работы и говорил про каких-то арабов, которым, что за технику не отправь, они ее ломают и бросают. Что мы им лучшее, а они – варвары. Объяснять про варваров, отец не хотел. Вырас-

тешь-поймешь, – дружелюбно говорил он и вздыхал. Потом возникли чехи. Они как-то незаметно вошли в наш дом. Единственное, что я поняла, что чехи – взбунтовались, и нам всем почему-то от этого очень страшно.

Отец стал рассказывать за ужином впечатления своих старших товарищей. Одну историю он излагал по многу раз, и потом на уже бис друзьям-военпредам.

В Прагу шел военный эшелон из Москвы. «И вдруг откуда-то выскочила, – говорил отец, – «патлатая», молодая шпана и легла на рельсы». Поезд успел затормозить. Оттуда вышли наши военные и стали уговаривать молодежь освободить путь. Но все было бесполезно. Те продолжали лежать на рельсах. И тогда из вагона выскочили сопровождающие поезд по линии Варшавского договора гэдээровские автоматчики; их форма почти не отличалась от прежней немецкой. Они отодвинули наших военных, построились цепь. Один из них скомандовал: «Айнц, цвай,

драй». И тут хиппи вскочили и бросились в рассыпную, немцы-то не стали с ними церемониться! – веселился отец.

Но какая-то неуверенность все-таки звучала в его голосе. Было видно, что ему нравился сам сюжет. Яркий и кинематографический. Вот они фрицы-немцы (тьфу), наши немцы выходят в черной форме, так похожей на ту, знакомую по фильмам и враги (кто – враги?) – разбегаются. Надо было рассказывать быстро-быстро, чтобы ни секунду не задуматься, потому что иначе, из рассказа выскакивал какой-то второй, а то и третий смысл, в котором слышалось: «а, черт знает, зачем мы все это делаем?»

6.

Когда я узнала, что отец уходит из дома, я мучительно стала искать в памяти подтверждение его любви к маме. И тут я вспомнила, что случилось, когда он решил, что мы погибли. Мне было

десять лет, шел 1970 год. Родители стали торжественно доказывать, что мне надо, наконец, съездить на родину в Приморский край в город Уссурийск. Тем более мама уже больше десяти лет не виделась с собственной матерью, меня же бабушка Таисия помнила только в младенчестве, а во все последующие годы – по фотографиям. И мы с мамой отправились в путь. Я никогда еще не летала на самолете, и все боялись, что меня будет обязательно тошнить. Однако все шло нормально, мы должны были пересесть в Хабаровске и лететь дальше – во Владивосток. Но где-то через несколько часов полета самолет попал в жестокую грозу. За иллюминаторами сверкали молнии, молодые стюардессы метались по салону, еле удерживаясь на ногах. Было видно, что они близки к панике. Но я почему-то не боялась. Может быть, в воздухе самолет всегда себя так ведет? К тому же мама вообще ничего не замечала. Справа от нее сидел мужчина, с которым

она увлеченно общалась. Мама была так захвачена разговором, что, только изредка поворачивалась ко мне и спрашивала утвердительно:

- У тебя ведь все в порядке? – и снова продолжала нескончаемую беседу. Попытки обратить ее внимание на молнии за окном иллюминатора, падающих в проходах стюардесс, ни к чему не приводили. Она была в какой-то своей реальности, которая не имела отношения ни к самолету, ни к нашей поездке. Мужчина не отрывал от нее взгляда, и они словно были заморожены друг другом. По громкой связи сообщили, что самолет не принимают ни в Хабаровске, ни во Владивостоке. Повсюду грозы и наводнение. Мы летели, куда-то, и наконец, все-таки приземлились на военном аэродроме. Ни в каких аэропортах прибытие нашего самолета не числилось (это выяснилось позднее). Отец безрезультатно обзванивал справочные. Ему отвечали, что наш рейс нигде не значится. Что самолет пропал. Так как в это

время правду узнать было невозможно, отец решил, что мы погибли. К тому же наша телеграмма, посланная по прибытии, до отца так и не дошла. По ошибке ее отнесли в другую квартиру. Все очнулись только на третий день, когда из Москвы от него пришло загадочное послание на имя бабушки Таисии. «Не скрывайте правду. Напишите все как есть». Куда девался тот призрачный мамин сосед по самолету, я так и не узнала. О чем впоследствии очень жалела. Ведь все нестыковки, странности того перелета, паника отца, его страх нас потерять, в моем сознании связались с тем загадочным попутчиком.

Мы оказались у бабушки в небольшом домике в Уссурийске, и я долго не могла прийти в себя от восьмичасовой разницы во времени. Утром я вышла во двор и увидела огромных бабочек-махаонов размером с воробьев, гигантские листья лопухов в человеческий рост, крупные ягоды похожие на вишню, почему-то прилеп-

ленные прямо к стволу дерева. Солнце мгновенно покрыло мою кожу пузырями. Спустя день, войдя в воду Амурского залива Тихого океана, я вышла из моря вся в крови, которая струилась из множества порезов на теле. Не сразу было ясно, что порезы появились от острых крабьих ракушек, которыми было унизано дно залива. Все это вызывало отторжение и неприятие. Мне стало казаться, что мир Дальнего Востока – жёсткий, несоразмерный человеку, тем более маленькому, абсолютно непригоден для жизни. По улицам Уссурийска – так было принято – со страшным, низким гудением труб траурного марша – провожали гроб с покойником. Он стоял на грузовике открытый, а за ним шла процессия, которую замыкал надрывно бьющий в тарелки оркестр. Эти звуки вызывали у меня панику, я затыкала уши и убегала в подворотню. Не только мертвецы, но и сам вид гроба и даже кладбища, порождали во мне неизъяснимый ужас. Однажды в

Москве, выйдя из двери нашей квартиры, я увидела, как с верхнего пролета два мужика спускают сверху гроб. Лифт был небольшой, поэтому несли они его на руках. Я побежала вниз по лестнице так, словно за мной гналась сама смерть. В Москве еще по старой, деревенской традиции ставили открытый гроб перед подъездом на табуретках, чтобы все соседи могли попрощаться с покойным. Я же всегда старалась пройти мимо, закрыв глаза.

В междугородней электричке, соединяющей Уссурийск с Владивостоком, постоянно ходили пограничники с автоматами. За несколько месяцев до приезда случилось трагическое столкновение наших пограничников с китайцами на острове Даманский, который находился совсем недалеко от этих мест. Родственники повели нас с мамой в пограничный музей, где целый зал был посвящен этой трагедии. Там я впервые увидела жуткие фотографии офицеров, изуродованных китайцами; с отрезанными ушами, выколотыми

глазами, с вырезанными на теле иероглифами. Все эти впечатления слепились у меня в один образ – и стали называться «поездкой на родину». Я с удивлением спрашивала маму, как же она тут жила. Она только смеялась в ответ и говорила, что ей непонятно, почему я не вижу поразительной красоты этих мест.

-А как можно войти в лес? – спрашивала я.

- Никак, это – тайга, – отвечали мне смеясь. – Все деревья перевиты плющом и диким виноградом, по нему не ходят, а пробиваются при помощи топора или ножа.

Но ведь мама рассказывала мне про сказочные поляны с огромными пионами, лесами полными белых грибов и груздей. Где же все это?

– Не здесь, – отвечали мне. Надо ехать на поезде, а потом на машине.

Нет, это мир, преувеличенный, избыточный, я не хотела бы здесь жить.

Отец встретил нас каким-то иным человеком. Он был словно потерян. Похудел, осунулся и

как-то странно всматривался в наши лица. В доме то тут, то там попадались наши фотографии. Они были вынуты из альбомов и лежали повсюду. Отец так никогда и не рассказал мне, что думал и чувствовал, оставшись один.

7.

Все эти события с поездкой «на родину» случились два года спустя после того, как в 1968 году мы из нашей крохотной комнаты в коммуналке на Старом шоссе переехали в двенадцатиэтажный дом на углу Калининского проспекта и набережной Москвы-реки. Дом называли «генеральским», потому что он был возведен еще в конце 30-х годов для офицеров и генералов. Мы с отцом вместе поехали посмотреть наши комнаты. Мы долго-долго поднимались в лакированном деревянном лифте с зеркалами по обе стороны ка-

бины. На крашенной коричневой двери на табличке золотом сияло: «Полковник Малышев». Я с удивлением посмотрела на отца.

– Это наши будущие соседи. Представляешь, здесь всего одна семья, а не десять, как сейчас.

Я подпрыгнула.

Дверь нам открыл седой военный, но это оказался не полковник Малышев, а майор Кужельков; он судорожно увязывал книги и вещи в тюки, в его движениях была странная поспешность, словно он стремился как можно быстрее отсюда убежать. Именно в двух комнатах, освобожденных Кужельковым, мы и должны были поселиться.

Отец склонялся над ним и бодро спрашивал:

– Ну, и как жизнь, товарищ майор, как соседи?

Кужельков вздрагивал, на мгновение замирал над коробкой. Не поднимая глаз, он тянул:

– Да как... люди разные, у нас не сложилось, может у вас...

Отец в ответ лишь радостно тряс головой. Видно было, как ему нравятся две большие светлые комнаты после нашей одной, где мы жили вчетвером, как весело смотрит он вниз на проспект Калинина с копошащимися муравьями-людьми, на старые арбатские переулки, что ломают повсюду, как радуется его строительство новой Москвы. Он хватал меня подмышки, подкидывал перед огромным окном, чтобы я испытала тот же прилив счастья, что и он.

Нашими соседями, а вернее, соседками, стали три женщины.

Мать – пожилая дама с седыми прядками, прикрывающими остренькие глазки, с постоянной ухмылкой, которая менялась от угодливой, до саркастичной, и была вдовой полковника Малышева. Две незамужние дочери – Люда и Галя, работали в закрытом военном учреждении. Первое время, встречая нас, они улыбались, но особенно их лица расцветали, когда они видели муж-

чин, и в первую очередь военных. Чем-то они походили на свою мать, но сходство это только начинало проступать на их тускнеющих лицах. Они считали себя дамами на выданье, устраивали у себя дома дни рождения с женатыми офицерами со своей службы, но их коллеги, прокричав тосты, поцеловав дамам на прощанье ручки, съев и выпив все, что было на столе, уходили домой к своим женам и детям. Наверное, Люда и Галя плакали ночами от несправедливости жизни; я то и дело слышала квакающие звуки из-под их двери. Но утром они накладывали на лица толстый слой пудры, надевали, длинные юбки с бахромой, похожие на портьеры, вешали на руку по лакированной сумке и отправлялись на работу.

Как-то в самом начале нашей жизни в новой квартире, Валентина Ивановна, так звали мать семейства, устроила мне экскурсию по своим комнатам.

Два непомерных, под потолок, резных буфета, покрытые черным лаком, мрачно глядели друг на друга с противоположных сторон гостиной. В скором будущем эти монстры, которых не могли ни разобрать, ни вывезти из квартиры, в каком-то смысле определяют судьбу нашей семьи; все попытки найти размен, разъехаться – разбивались (по словам наших соседок) о зловещие буфеты. Словно эти ископаемые упирались лапами, чтобы никто не мог сдвинуть их с места.

Но пока я с изумлением оглядывала эти загроможденные комнаты, где царил полумрак, пахло нафталином и сыростью; меня изумило, что на всем – рояле, креслах, стульях и даже столе были белые чехлы. Первым делом Валентина Ивановна подвела меня к окну; напротив криво торчал остов, какого-то высокого старого дома, по которому глухо били каменной бабой.

– Это тюрьма, в которой сидела Надежда Константиновна Крупская! – с торжеством сказала она, а я от неловкости, не зная, что ответить, вдруг спросила:

– А где ваш муж, полковник Малышев?

Валентина Ивановна со значением посмотрела на меня.

– Какая любопытная девочка, – проговорила она. И резко взяв за локоть, втокнула меня в смежную комнату, открыв стеклянную дверь, занавешенную белой материей. Я оглянулась по сторонам, это была спальня, в центре стояла огромная двуспальная кровать, закрытая покрывалом. Я вздрогнула, почему-то мне показалось, что сейчас из-под белой накидки вылезет сам полковник Малышев с металлической дощечки.

И тут я подняла голову. Над кроватью в тяжелой раме висела огромная фотография.

– Это он! – торжественно сказала вдова и угодливо-саркастическая улыбка искривила ее лицо.

Никакого поясного портрета в медалях; фотография запечатлела усыпанный цветами и венками гроб, в котором лежал человек с набеленным лицом и в парадном мундире. Над ним невозмутимо возвышалась Валентина Ивановна в черной шляпе-кастрюльке, две ее дочери, а за ними плескалось море погон, которое утекало в огромную залу с белыми колоннами.

Фотография на стене, навсегда поселила в моей душе мысль о том, что соседка не совсем нормальна. Однако я не стала делиться своими умозаключениями с родителями.

Они были молоды и наивны; им едва было за тридцать, они наслаждались огромностью комнат, величиной кухни и некоторой свободой перемещения в туалет и ванну, а тем временем, я пыталась войти в новую жизнь.

К сожалению, уже через два года отношения с соседками у родителей разладились. Почему, не помню, но это случилось вдруг, сразу и наве-

гда. Однажды, войдя на кухню, я увидела на холодильнике огромную цепь и замок. Я влетела в комнату со словами, что у Валентины Ивановны, наверное, появилась собака, которая живет в холодильнике. Родители только грустно покачали головами, а отец сказал куда-то в сторону:

– Вот ведь и Кужельков говорил.

Что говорил Кужельков, отец мне объяснять не стал, но меня довольно скоро перестали волновать соседки. Я спускалась по огромной лестнице из арки во двор. Справа была дверь, к которой я всегда шла с огромной радостью. Я мечтала о дружбе с девочкой из четвертого подъезда. Мы вместе учились в 3 классе. Ее звали Танька Галкина. Мне ужасно нравилось, как соединялись ее имя с ее фамилией. Слова резинкой растягивались, а потом резко съезжались вместе. Даже когда я не видела ее, я ходила и повторяла одними губами: «Танька Галкина».

8.

У нее был широкий лягушачий рот, маленький немного приплюснутый нос и огромные зеленые глаза с мохнатыми ресницами и черными бровями. Я всегда думала, что все красавицы должны быть именно такие. На спине у нее болтались две длинные косы, тяжелые и прохладные на ощупь. Я все время видела именно ее лицо, а свое – забывала. Себя я представляла изнутри, а ее – всю в подробностях и в черточках. Галкина прекрасно знала, что я смотрю на нее и выделяла со своим лицом разные штуки. То делала вид, что меня нет вовсе рядом и смотрела, куда-то поверх меня, то внезапно высовывала язык, то выпучивала глаза, и от этого у меня от смеха все болело и екало. С ней было страшно весело еще и потому, что она умела делать смешное с каменным лицом. Так из нас не умел никто. Уже тогда мне пришла в голову мысль, что я

напишу про Галкину. Я знала, что проживаю рядом с ней какую-то особенную жизнь, но это была наша с ней тайна, которую мы тогда никому не могли доверить.

В шестом классе на занятиях по труду мы шили трусы. Потом их надо было вывешивать на стенд в коридоре. Мы прятали свои фамилии под «изделием», потому что мальчики бегали с хохотом и кричали:

- Вон в горошек трусы Лысовой, а вон – в яблоках – трусы Квасовой.

Шили мы их в основном дома, а на уроках слушали душераздирающие рассказы нашей «трудихи» о непростой доле жены командира в военном городке. Она прожила там не одно десятилетие и вот теперь на пенсии делилась с нами своим огромным опытом; здесь было все – обман, ревность, расчет и даже самоубийства от несчастной любви. После цикла таких бесед, трудиха неприязненно смотрела на наши «изделия» и всегда ужасалась моим.

-Твое изделие снилось мне всю ночь. Как же можно так шить? Ты будущая женщина и мать.

Я с тоской думала о судьбе женщин и матерей в том военном городке. Наверное, они хорошо шили трусы, но жизнь их явно не складывалась.

Галкина скорбно смотрела на меня, вытянув лицо. Ее изделия всегда были идеальны.

В то время в нашей, а скорее даже в ее голове сложилась мстительная мысль показывать учителей в идиотском виде. Для этого вполне подходила площадка в центре двора рядом с цветником, где стоял маленький серебристый Ленин. На лавочку садилось несколько зрителей, а кто-нибудь из нас, используя словечки, истории и жестикуляции учителя или учительницы, показывал прошедшие уроки. Задача была рассмешить зрителей, а их – не рассмеяться. Так изо дня в день мы с Галкиной оттачивали свое мастерство. Но ее выход в роли «трудихи» был всегда самым сильным. У нее, то злая соперница

уводила мужа-полковника из военного городка, то она пила горькую, жалуясь на свою жизнь:

— Освободи меня, — она тыкала в меня указкой — твое изделие снится мне из ночи в ночь. Оно приходит ко мне в виде привидения!

Потом нам показалось, что и этого мало. Мы искали иные способы реализации своих талантов. Дело в том, что мы вставали и ложились под звуки радио. Мы делали уроки и обедали вместе с передачами про урожай, воспитание детей, и конечно же «Театр у микрофона». Тогда мы уже научились считывать взрослое, сладенькое лицемерие, которое так часто встречали в жизни. Особенно смешно было слушать про детей в пионерских галстуках, про их помощь старшим и желание заработать хорошие оценки.

У меня дома был магнитофон «Чайка». Довольно скоро я научилась им пользоваться, и мы с Галкиной начали записывать собственные радиопередачи. Они были о «счастливом» детстве,

о родителях, которые рассказывали корреспондентам байки о своих детях и при этом избивали их прямо на глазах интервьюера, или же про радости сельской жизни. Откуда-то нам было известно, что радости там было немного. В общем, в свои 10-11 лет мы даже не догадывались, что занимаемся «очернением» действительности. Все свои эксперименты мы проделывали в глубочайшей тайне. Но однажды, когда нас летом отправили в пионерские лагеря (мы для себя называли это ссылкой), родители с гостями решили потанцевать под магнитофон. Благо отец записывал непрерывно всякую советскую эстраду из телевизора и радио. Они крутили, крутили пленку и вдруг услышали, как две маленькие девочки взрослыми голосами пародируют известные радиопередачи. Родители испытали легкий шок. Надо сказать, что они и представить не могли масштаб второй жизни, которую мы вели. Они потеряли дар речи. Но потом стали смеяться вместе с гостями. Когда я вернулась из лагеря,

смущаясь, родители рассказали мне про то, что услышали в день рождения. Но в глазах читался испуг. Мне же было очень неловко перед ними, словно они застигли меня за чем-то непристойным.

Тем временем, в школе нас стали постоянно гонять на маршировки. Так как наша школа находилась на проспекте Калинина, мы понадобились государству для проведения коммунистических празднеств. Близилось столетие Ленина. Шел 1970 год. Проходили съезды, торжественные собрания на огромных предприятиях. Почему-то всем нужны были пионеры, выбегающие на сцену с цветами или с маршем под красным знаменем, заполняющие проходы в зале. Мы стояли, а тетеньки и дяденьки смотрели на нас как живых зверьков, словно они никогда не видели детей в пионерских галстуках. В Кремлевском дворце в те годы мы были на всех съездах партии и комсомола. Некоторые из делегатов даже пытались нас пощупать, но мы уворачивались.

Мы были по-взрослому мрачны и утомлены. Иногда нас бесплатно кормили пирожными. Довольно скоро мы стали понимать цену всем этим торжественным выходам. Цинично обсуждали, где и сколько нам могут дать сладкого.

В искусстве маршировки многие достигли совершенства. Галкина, как и все остальное – делала это изящнее других, и ее часто ставили под школьное знамя, мне же без нее было довольно-таки грустно. Учиться мы почти не учились. Поэтому у меня выпадали целые фрагменты среднего образования. Обеспокоенная этим учительница русского языка кричала:

–Вы у меня на колах будете знамена носить!
Но поделать ничего не могла.

Первое мое столкновение с советской властью произошло накануне XXIV съезда партии. Мы стояли в строю, а директор ходил, осматривая каждого как санитарный врач пациентов. И тут он увидел дырочку от утюга на моем красном

галстуке. Галстуки, как известно делались из какого-то полухимического шелка и при глажке, могли целиком остаться на горячем утюге. Он взял меня за руку и возмущенно вывел перед строем.

– Посмотрите, в каком виде эта, с позволения сказать, пионерка хотела пойти на съезд партии! – гулко прокричал директор. Я с ужасом вспомнила судьбу Зои Космодемьянской и почувствовала, как мой дырявый галстук может превратиться в его руке в петлю. Но рядом появлялись все новые и новые отверженные, и мы даже почувствовали некое братство.

– А на черта мне нужен этот съезд партии, – прошептал низкорослый пионер с недостаточно короткими волосами, – и я подумала, что и правда, зачем мы, как заведенные марионетки, все ходим и ходим к этим толстым теткам и дядькам с их искусственными улыбками.

9.

Тем временем, в нашей квартире, хотя это мало меня касалось, шли развернутые боевые действия. Теперь мне было строго-настрого запрещено выходить на кухню. Обедала я после школы в комнате, где под накрытым полотенцем стояла тарелка с холодным супом, зато я была в безопасности. Соседки имели огромный опыт сживания со свету. Наверное, – думала я, – они считали, что вдова и дочери полковника Малышева имеют полное право занимать всю квартиру. И подсознательно стремились истребить всех живых существ. Каждый раз при появлении новых соседей они некоторое время сдерживались, но потом их охватывало ощущение, что судьба поступила с ними несправедливо, и тогда они брались за старое.

В воскресные дни, когда родители пытались выспаться, ровно в шесть утра наши соседки начинали концерт в коридоре, набив в авоськи

банки и бутылки; этот перезвон напоминал мне кадры из фильма «Тимур и его команда», когда пионеры-тимуровцы собираются на призыв своего командира. Однажды соседки полили пол перед нашими дверями подсолнечным маслом, и мы, выходя по очереди, падали. Их безудержная фантазия не знала предела. Родители, исчерпав все аргументы в переговорах, вызвали общественницу и подали на них заявление в товарищеский суд.

В квартиру вошла полная пожилая дама в маленьком плетеном берете с блестящей брошкой в виде жука.

– Ну, что Малышевы!?! – грубо обратилась она к полковничьей родне прямо с порога – снова хулиганничаете?

Соседки, перебивая друг друга, стали, жестикулируя, что-то рассказывать про моих родителей. Я, кстати, так никогда не узнала, в чем те были, по их мнению, виноваты. Но общественница только махнула рукой.

– Вы мне тут не пойте, Валентина Ивановна,
– адресовалась она к вдове полковника Малышева. – Вы с 1946 года угомониться не можете.

«Ого, – подумала я. – Аж с сорок шестого года. Я еще не родилась».

А общественница продолжала: -Я вас все жду на заседании товарищеского суда послезавтра.

Родители переминались с ноги на ногу, чувствуя всю нелепость ситуации. Суд постановил нам и соседкам искать варианты разъезда, в ином случае все будут платить штраф. Начались поиски размена. И все было бы прекрасно, потому что можно было бы поселиться и на Кутузовском проспекте, и даже на Арбате, но было одно «но». Огромные, черные, резные шкафы Малышевых, упирающиеся в трехметровые потолки, невозможно было не то что вывезти, но даже сдвинуть с места. Эти стоячие черные гробы стали своеобразным символом недостижимых усилий моих родителей найти выход из

тупика коммунальной жизни. Из их непроходящего отчаяния.

И вот чудо – им предложили обмен в квартиру в Бабушкине. Отдельную, двухкомнатную распашонку в кирпичной пятиэтажке. Этот вариант показался родителям избавлением. Мы никогда не жили в отдельной квартире. К слову сказать, несчастные обитатели Бабушкинской малометражки, которые купились на жилье на проспекте Калинина, спустя полгода оказались в больнице с загадочным отравлением.

Квартира-надгробье полковника Малышева снова собирала свою роковую жатву.

10.

Бабушкино я не просто невзлюбила – возненавидела, считая его анти-городом, анти-Москвой. Маме очень нравилась здешняя зелень, парки, остатки прежней подмосковной атмо-

сферы. Отец стал еще чаще приглашать военпре-
дов на просветительские пирушки. Сами же ро-
дители приезжали на этот край света лишь по-
ужинать и переночевать. В набитом автобусе, в
переполненных вагонах метро они уезжали в
центр Москвы на работу и возвращаясь поздно
вечером, когда вокруг было совсем темно и ни-
чего не было видно. А я, лишившись Галкиной,
своей Москвы, Арбата, балкона на девятом
этаже, чувствовала себя изгнанной из рая.

В Бабушкине я узнала, что улицы бывают по-
делены между группировками. По выходным –
темные испитые личности ходят стенка на стенку
с цепями, обмотанными на руку. Они выбирают-
ся из деревянных домов, из мрачных подъездов с
черными дырами, из-за высоких заборов. Здесь
еще то тут, то там попадались собачьи будки, ко-
лодцы у домов, иногда около девятиэтажек пас-
лись коровы. Здесь рядом с остатками умираю-
щего Подмосковья стоял городок, населенный

семьями пограничников с большой военной частью. Большинство детей в школе, куда я попала были из пограничных застав со всего Советского Союз. Девочки держались на перемене стайками и говорили: «На выходные, поедem в Москву!». Целые перемены я стояла у стены в надежде, что за брошенной фразой, шуткой смогу найти, почувствовать «своего» человека. Наша классная – по совместительству комсорг школы, почувствовала, что я другая. Она щурилась на меня, словно старалась разгадать, кто я есть на самом деле. И когда стали составлять списки для поездки в трудовой лагерь в Ростов-на-Дону, она сказала, что брать меня не хочет, потому что мне там будет трудно. Но я зачем-то настояла, и меня взяли.

11.

Мы (два девярых класса) отправились в трудовой лагерь под Ростовом= на Дону на большом теплоходе. Места у нас были самые дешевые, в

трюме. Мы даже говорили друг другу, что плывем как негры.

Как-то так сложилось, что мы – три девочки были на некотором расстоянии от всех остальных. Мы читали одни и те же книжки, разбирали стихи, часами говорили друг с другом, глядя на уходящую из-под колес воду. Нам было интересно вместе. Одну девочку звали Лариса, а другую Рита. Мы любили шутить и искать во всем смешное. Так мы плыли, не чувствуя за своими спинами беды. Лариса была красивая девушка, училась лучше всех, у нее всегда все получалось. Она была иронична и насмешлива. И вот однажды, зайдя кают-компанию, где обычно собирались наши одноклассники для игры в карты, шахматы и прочее, Лариса как-то неловко пошутила по поводу мальчиков, их карточной игры, или как-то посмотрела на них... Точно уже сказать нельзя, но, что явилось для нее полной неожиданностью – в ответ она вдруг услышала отбор-

ную матерную ругань. Выматерил ее крепкий, небольшого роста Сергей Савичев. Недостаток роста он компенсировал злым языком и желанием постоянно лезть в драку. Его брань прозвучала перед большим количеством людей и повергла ее в настоящий шок. Никто не вымолвил ни слова. Все как-то оцепенели и смотрели, что будет дальше. Лариса покрылась пятнами, страшно закричала и выбежала из зала, а я кинулась за ней, боясь, что она прыгнет в воду. Но найти ее сразу я не смогла. Я натыкалась на стайки девочек и мальчиков, которые смотрели сквозь меня и говорили какие-то загадочные вещи. Я была словно невидима. До меня доносилось: «Пора их высадить с парохода», «надоели», «ишь, какие». Я чувствовала себе бредущим сквозь толпу Раскольниковым, который, хотя и слышит все о себе, как бы невидим. Вскоре я нашла плачущую Ларису, и только начала ее утешать, как ко мне подскочила комсорг нашего класса, и с ехидной

улыбкой сообщила, что у нас комсомольское собрание, на котором мы обязаны присутствовать. Мы пошли в кают-компанию, надеясь, что перед Ларисой извинятся, и дело закончится миром.

Однако по всем сторонам зала как в цирке сидели одноклассники, а внизу стояли три стула, как потом выяснилось – для нас. Тут же стояла наша классная руководительница – комсорг всей нашей школы. Зычным голосом она потребовала, чтобы мы сели посередине. Показывая на нас пальцем, она заявила: «Эти трое противопоставляли себя коллективу, они постоянно говорили друг с другом, смеялись, и довели Савичева Сергея до того, что он вынужден был им дать отпор! Он выругал Ларису матом, потому что не мог больше терпеть ее насмешки. Теперь мы все вместе должны решить, что с ними делать и как нам жить дальше». Представить, что из Лариса из жертвы превратится в обвиняемую! Я стала возражать, говорить, что это абсурд,

бред...Но мои слова были встречены возмущенным гулом голосов. Лариса и Рита молчали, опустив головы.

Но тут произошел комичный случай. Где-то наверху, незамеченные никем сидели два матроса и посудомойка. Когда наша учительница пригвождала нас к позорному столбу, один из матросов, который только что ухаживал за посудомойкой, и казалось был занят только этим, вскочил и закричал: «Вы, что с ума сошли! Он девку матом обложил, а вы ее еще за это судите!» Наша классная, сначала опешила, но обретя дар речи, завизжала: «У нас закрытое комсомольское собрание! Убирайтесь!» «Фиг, вам, – отвечали матросы, – мы у себя дома и не двинемся с места».

В итоге нам троим вынесли предупреждение о недопустимости нашего антиобщественного поведения и пообещали при повторном случае отправить домой. После собрания мы с Ри-

той пытались объяснить девочкам, что если сегодня так обошлись с Ларисой, то завтра их тоже не будут считать за людей. (Что, кстати, подтвердилось, но это уже другая история). Девочки, потупившись, молчали. Молчала и Лариса. В ней что-то неуловимо изменилось за эти несколько часов. За ночь я перебрала всех литературных и киногероев, которые оказывались в такой ситуации, и решив, что ничего страшного, в сущности, не произошло, почувствовала себя значительно легче. Утром я подошла к Ларисе, чтобы поделиться своим прозрением.

– Неужели ты не поняла, что нам нельзя общаться друг с другом? – сказала она и отошла от меня.

С этого момента она перестала меня замечать и со мной разговаривать. Она надела какой-то невзрачный платочек, стараясь ничем не обращать на себя внимание. Никакое собрание, никакой мат не потрясли меня сильнее, чем ее пре-

вращение. Но мне, почему-то стало легче дышать. Я почувствовала мир таким же понятным, каким видели его посудомойка и матрос, которых выгоняли с собрания.

Прошло три года. На встрече выпускников, куда я ходила крайне неохотно, стали показывать самодеятельный фильм о трудовом лагере и нашей поездке на пароходе. На экране все смешно кривлялись, как это бывает на любительской съемке, на фоне проплывающих мимо городов. Когда включили свет, я спросила у сидящих возле себя, помнят ли они комсомольское собрание на корабле? Как нам вынесли порицание? К моему удивлению не помнил никто. И даже моя милая Рита, с трудом вспоминала, что что-то было. А Лариса ушла из школы сразу же после возвращения из поездки. Ушла и ее никто не видел. И сколько я не спрашивала о ней, искала ее следы, но так и не нашла.